

Мотив «блудного пира» в «Петербургских повестях» Н. В. Гоголя

Е. С. КАРИМОВА

(ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)*

Мотив «блудного пира» формирует в гоголевском повествовании кризисную модель современной цивилизации. Петербургский блудный мир-пир становится для героев гоголевского цикла границей между жизнью и смертью, духовным испытанием, битвой.

Ключевые слова: Гоголь, «Петербургские повести», мотив «блудного пира», духовная смерть, мистерия.

The Motive of 'Prodigal Feast' in Petersburg's Stories of N. V. Gogol

E. S. KARIMOVA

(ORENBURG STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY)

The Motive of 'prodigal feast' forms in Gogol's narrative crisis model of modern civilization. Petersburg's prodigal world-feast becomes for heroes of Gogol's cycle by border between life and death, spiritual trial, battle.

Keywords: Gogol, 'Petersburg's stories', motive 'prodigal feast', spiritual death, mystery.

В последнее время как в религиозном, так и в академическом литературоведении складывается представление о том, что «смысловую и стилистическую притчеобразность» петербургского сборника Гоголя оформляет «философско-психологический комплекс «блудного сына» (Хомук, Янушкевич, 1996: 68–69). Эту точку зрения разделяют В. И. Тюпа, А. Х. Гольденберг, Н. В. Хомук, А. С. Янушкевич и др. Между тем феномен мотива «блудного сына» в притчевый сюжет складывается путем «слипания» «субмотивов блудного ухода, блудного пира, блудного смирения и блудного возвращения» (Тюпа, 1996: 52).

Предметом исследования данной статьи является функционирование мотива «блудного пира» в петербургском цикле Гоголя.

Появление этого мотива в гоголевском повествовании связано, на наш взгляд, с трансформацией того карнавального начала, которое, будучи неотъемлемой чертой гоголевского мировидения, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», «Миргороде» приобретает черты стихийного, необузданного языческого действа: ярмарка, народное гу-

лянье, пляска. Уже в «Петербургских повестях», I томе «Мертвых душ» на фоне все возрастающей христианизации мировоззренческой парадигмы писателя карнавальная атрибутика наделяется, наряду с тяготением к «скрытому, неявному фольклоризму», явной христианской символикой (Гольденберг, 2008: 185). Благодаря обширной inferнальной символике петербургский мир в цикле Гоголя превращается в блудный пир.

Между тем в развитии «элементов карнавализации» в гоголевском творчестве прослеживается глубинная связь. Так, полагает Ю. В. Манн, уже в ранних повестях Гоголя («Сорочинская ярмарка», «Заколдованное место» и т. д.) веселье сопровождается чувством «тревожного демонизма», «проистекающим из нарушения естественного течения дел» и вмешательства в ход праздничного действа «непонятных и неконтролируемых сил» (Манн, 2002: 2).

Подобное отношение к смеху, веселью связано со способностью Гоголя «проникать в глубинные пласты архаического сознания народа», воссоздавая в своих произведениях

* Каримова Елена Сергеевна — аспирантка Оренбургского государственного педагогического университета. Тел.: (3532) 77-24-52. Эл. адрес: karimov-dm@mail.ru

«мифологические верования славян», в соответствии с которыми «смех неотделим от ужаса и связан с миром дьявольской морочки». Также согласно канонам русской православной культуры «святость допускает благодатную улыбку, но исключает смех» (Лотман, 2002: 683, 690). В петербургском сборнике связь мотива пира с демоническим началом и миром греха очевидна.

В его функционировании можно выделить два основных направления: мир-пир и пир как конкретный акт, ставший опорным моментом в структуре произведения. При этом уже в семантике фамилий героев (Пирогов — «пир», «пирог», Чартков — «чара», «чарка») намечена связь мотива «пира» с гоголевской антропологией. При этом в художественном пространстве повестей «пир на весь мир» как символ устойчивости миропорядка, благополучия рода, всеобщей гармонии получает перверсное осмысление. Это пир наоборот, «перверсный пир» (Ю. М. Лотман), пир мнимый, страшный и гибельный для человека.

Яркий пример реализации первого направления (мир-пир) — описание той «фантазмагии», которая свершается на Невском проспекте. Кажется, что в каком-то одном неистовом порыве «несутся» рединготы, сюртуки, «тысячи сортов шляпок, платьев, платков», «мирады карет», мосты, тротуары. Всё яркость, пестрота, «блеск и гром». Поистине пирует весь мир, пирует неистово, самозабвенно («пир на весь мир», «пир горой»).

На наш взгляд, мотив «блудного пира» входит в гоголевское повествование вместе с таким емким определением светской жизни тогдашнего Петербурга, как «рассеянная жизнь»: «Это было ему (Чарткову. — Е. К.) невмочь, да и некогда: рассеянная жизнь и общество, где он старался сыграть роль светского человека, — все это уносило его далеко от труда и мыслей» (3–4, 185)¹. Какие-то невидимые силы влекут человека в мир всеобщего маскарада и фальшивого веселья, чтобы у него не было возможности задуматься о себе, своем месте в мире, обра-

титься к созидательному труду, тем самым обрести внутреннее спокойствие и гармонию. Современный человек блуждает по жизни, подобно теряющему рассудок художнику Пискареву: «глупо, без цели, не видя ничего, не слыша, не чувствуя», и постепенно превращается в бесчувственный автомат, которому чужда людская боль, который забыл, что такое любовь, дружба, христианское братство (3–4, 113).

Пир как конкретное действие (бал, пришедшийся Пискареву («Невский проспект»), вечер, проведенный Акакием Акакиевичем у помощника столоначальника, и ужин у приятеля значительного лица («Шинель»)) также получает травестийное изображение. При этом предметом травести становятся традиции позитивного, созидательного пира, прежде всего традиции братских трапез ранних христиан. По мысли Гоголя, «святыня этого трогательного небесного пиршества» «давно была опозорена» «невежественными христианами, буйством их ликований, словами раздора, а не любви» (6, 505). Традиции неоскверненного пиршественного веселья, сложившиеся как в светской, так и религиозной традиции мировой культуры, в гоголевском повествовании трансформируются, становясь одним из самых ярких проявлений извращенной сути петербургского мира.

Трагизм гоголевского мировидения обусловлен, на наш взгляд, тотальным неприятием писателем аксиологической системы современного мироустройства. Интересным является факт биографии Гоголя, на который обращает внимание Ю. В. Манн: «Гоголь любил вносить беспорядок в порядок, разноречивой в стройность <...>, он опрокидывал иерархию, нарушал этикет» (Манн, 1994: 87). В «Петербургских повестях» писатель также разламывает, вскрывает разложившуюся суть современной цивилизации, в которой за внешней упорядоченностью скрывается углубляющийся хаос.

Участники праздничного действа в повестях именуются не иначе как «ужасное многолюдство». Толпа в художественном во-

площени Гоголя олицетворяет нечто безликое, темное, пугающее и агрессивное. Так, на балу Пискарев постоянно вступает в противоборство с толпой: он толкает встречающих, «продирается» сквозь толпу. При этом уже в ранних повестях Гоголя «обнаруживается отход от философии и поэтики карнавальной общности» «в сторону индивидуального действия» (Манн, 1996: 18).

Важным для понимания гоголевской антропологии, на наш взгляд, является устойчивый в древнерусской «воинской повести» и в «Слове о полку Игореве» мотив битвы-пира. Следуя этой традиции, Гоголь убежден, что истинному христианину, на которого снизошло Божественное откровение, предстоит подобно воину на поле битвы попирать мир греха. Здесь мы подходим к ключевому в гоголевской концепции человека понятию «поприще». В словаре В. И. Даля находим: «Поприще» — «место, которое топчут», «место, на котором подвизаются или действуют, арена, место борьбы, ристалище» (Даль, 1982: 306). Это оказывается глубоко созвучным мировидению писателя: путь ищущего истину — долгий и трудный путь личного духовного возрастания. Человек, по мысли Гоголя, должен стать «ратником добра» и света в родной земле, должен «накопить» «душевное добро», а потом «раздать» его людям. При этом нужно иметь достаточно силы, мужества, чтобы противостоять натиску дикой, враждебной толпы, на что неспособны гоголевские герои, поскольку в их душе нет того стержня, каким является для духовно просветленного человека вера в Бога.

Не потому ли петербургский пир оказывается гибельным для героев цикла? И заканчивается либо сумасшествием (как для Поприщина), либо самоубийством (как для Пискарева и Чарткова), либо мучительными мытарствами и гибелью (как для Акакия Акакиевича). Но, по сути, человек, вкусивший плоды «блудного пира», мертв еще при жизни.

В гоголевском повествовании вхождение в мир светского пиршества и веселья сродни духовной смерти. Так, начинающий талант-

ливый художник Чартков («Портрет»), став светским львом, «модным живописцем во всех отношениях», превращается в одно из тех существ, «которых много попадает в наш бесчувственный свет» и которых Гоголь с ужасом называет «движущимися каменными гробами с мертвецом внутри вместо сердца» (3–4, 177, 186).

«Блудный пир», которым охвачен весь мир, наделяется в петербургском цикле чертами извращенного поминального пира, поскольку нарушена исходная догматика данного обряда: не живые прощаются с мертвым, а мертвые, заблудшие души принимают в свои ряды некогда живую душу, умертвляя ее.

Так, в ритуале перехода Чарткова в новую для него светскую жизнь воспроизведена сюжетно-смысловая схема похоронно-поминального обряда. Художник переоделся, «накупил духов, помад», «нанял» квартиру «с зеркалами и цельными стеклами», которая, по сути, является подобием духовного гроба, духовного заточения героя, на что указывает не только «демоническая репутация» зеркала, но и его семиотический статус объекта, побуждающего человека к рефлексии и самоанализу. Далее Чартков наелся «без меры конфетов в кондитерской» и выпил в ресторане бутылку шампанского (3–4, 173).

«Блудный пир» наделяется в гоголевском повествовании статусом рубежа, границы, который в тексте поддерживается как пространственными (портрет как порождение «блудного» мира-пира и квартира с зеркалами в истории Чарткова, площадь-пустыня в истории Акакия Акакиевича), так и временными маркерами перехода (на вечере Акакий Акакиевич «никак не мог позабыть, что уже двенадцать часов и что давно пора домой») (3–4, 233). Кроме того, состояние опьянения, в котором пребывают герои, также является переходным, сродни смерти, и связано с миром греха: «Вино зашумело в голове, и он (Чартков. — Е. К.) вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черту не брат» (3–4, 173).

За этим рубежом духовно слабый человек обречен на духовную смерть. Для человека же сильного духом испытание «блудным пиром», каким писателю представляется петербургская действительность, — рубеж, за которым следует духовное прозрение и возрождение души.

Смысловое единство гоголевского цикла определяет движение по пути «преодоления апостасии» (И. А. Есаулов), по пути «исхода из духовного гроба», что способствует «мистеризации» повести Гоголя (Недзвецкий, 1997: 47). Путь мистерийного, чудесного преображения, который, по мысли писателя, предстоит пройти современному человеку, — это путь от «блудного пира» к «светлости небесного веселия».

В повести «Портрет» в истории монаха-иконописца, некогда страшно согрешившего человека, открывшего демоническому началу дорогу в мир, всецело воплотился мистерийный сюжет: от искушения, духовной гибели к раскаянию, исповеди и покаянию. Особую роль в свершении мистерийного преображения человека Гоголь отводит искусству, которое призвано даровать человеку истинный праздник, «радость, ликующую в духе» (6, 506). На наших глазах свершается великая мистерия, чудо: «однообразные, холодные, вечно прибранные», «застегнутые лица» людей оживают, исполняются чувством прекрасной сопричастности Божественной красоте и гармонии бытия. Так «невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину», привезенную из Италии (3–4, 188).

Смысловое единство «Петербургских повестей», на наш взгляд, оформляет причастность гоголевского цикла к вечно свершающейся драме, мистерии человеческого бытия. Писатель застает своих героев в момент выбора между грехом и благодатью, между «блудным пиром» и «небесным веселием», сохраняя при этом «возможность движения в том или ином направлении от границы»

(Кривонос, 2007: 135). Жизнь человека, по мысли Гоголя, — это поприще, ристалище, бесконечное преодоление себя, битва за свою душу.

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Произведения Гоголя цитируются по изданию, указанному в списке литературы. Том и страница указываются в скобках после цитаты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гоголь, Н. В. (1994) Собр. соч. : в 9 т. М. : Русская книга.

Гольденберг, А. Х. (2008) Смена архетипов: к проблеме эволюции фольклорных традиций в поэтике Гоголя // Седьмые гоголевские чтения / под общ. ред. В. П. Викуловой. М. : ЧеРо.

Даль, В. И. (1982) Толковый словарь живого великорусского языка. М. : Русский язык.

Кривонос, В. Ш. (2007) Путь и граница в повести Гоголя «Портрет» // Шестые гоголевские чтения / под общ. ред. В. П. Викуловой. М. : КДУ.

Лотман, Ю. М. (2002) История и типология русской культуры. СПб. : Искусство-СПб.

Манн, Ю. В. (2002) Заметки о «неевклидовой геометрии» Гоголя, или «Сильные кризисы, чувствуемые целою массою» // Вопросы литературы. № 4.

Манн, Ю. В. (1994) «Сквозь видимый миру смех...» Жизнь Н. В. Гоголя 1809–1835. М.

Манн, Ю. В. (1996) Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М. : Coda.

Недзвецкий, В. (1997) Мистерияльное начало в романе Ф. М. Достоевского // Достоевский и мировая культура. Альманах № 9. М. : Классика плюс.

Тюпа, В. И. (1996) Тезисы к проекту словаря мотивов // Дискурс. № 2. Новосибирск.

Хомук, Н. В., Янушкевич, А. С. (1996) Отзвуки притчи о блудном сыне в петербургских повестях Гоголя // «Вечные» сюжеты русской литературы («блудный сын» и другие). Новосибирск.